

Елена Потехина

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА: ТЕОРИЯ И МАНИПУЛЯЦИИ

1. Данная статья является попыткой автора осмыслить некоторые положения истории русского литературного языка в контексте так называемой *новой гуманистики*. Понятие новой гуманистики и ее предмет, предполагающий *интердисциплинарный* характер исследований, сформировались в 70-е годы XX века в США — в ответ на появившиеся в ученой среде размышления по поводу кризиса методологии в гуманитарных науках в связи с распространением идей постмодернизма. В числе симптомов кризиса называют (Селиванов 2001, 127): а) ослабление классических традиций гуманитарных школ второй половины XIX — первой половины XX века; б) усиление влияния на гуманитарные науки наук технических и естественных (теория информации, синергетика и др.); в) заимствование исследовательских технологий из негуманитарного сектора исследований; г) завышение роли субъективного фактора в гуманитарных исследованиях; д) отсутствие крупных научных открытий, масштабных концептуальных решений, направленных на познание духовного мира человека и общества, законов общественного развития; е) отсутствие строгой терминологии и т.д.

Дж. Эпплби, Л. Хант и М. Джекобс считают иначе:

Как традиционалисты, так и релятивисты ошибаются, ставя неправильный диагноз сущности кризиса (речь идет об истории — Е.П.). Причиной его является общий упадок всех форм политического и интеллектуального абсолютизма. Так как тоталитарные режимы во всем мире сдают свои позиции в пользу демократии, так и претензии на абсолютное знание должны уступить перед множеством точек зрения и их вкладом в создание знания (Appleby, Hunt, Jacobs 2000).

В центре новогуманитарных исследований находится *история*. Исторический дискурс в новой гуманистике строится с опорой на чело-

веческую память и жизненный опыт. Точка зрения «малого» человека, участника событий часто идет вразрез с общепринятой точкой зрения, остается вне сферы интересов «большинства». Поэтому понятия демократизации и деколонизации истории в контексте новой гуманистики связаны с эмансипацией социальных меньшинств: национальных, идеологических, религиозных, сексуальных, с утверждением индивидуального и социально значимого сборного тождества, которое прежде определялось доминирующей системой власти.

Интерес к новым старым проблемам в связи со снятием запретных тем и открытием «спецхранов» и архивов особенно заметен в российской гуманитарной науке, в постперестроечные годы постепенно овладевающей понятийным и терминологическим аппаратом новой гуманистики. Одним из ключевых концептов «новой гуманистики» есть концепт «памяти». Российская постперестроечная культурная действительность насквозь пронизана памятью, и в возрожденных общественно-политических, литературных и научных журналах главное место занимают статьи, посвященные истории, открывающие правду о прошедших событиях, а также воспоминания их участников.

Следует заметить, что в самой идее проведения междисциплинарных гуманитарных исследований, а также в стремлении отразить в систематизируемом и анализируемом материале противоположные взгляды и точки зрения ничего нового нет, в настоящее время такой подход всего лишь знаменует возврат к применению принципа *audiat et altera pars*. Не об этом ли еще в прошлом веке писал Лев Толстой?

Для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами. Никто не может сказать, насколько дано человеку достигнуть этим путем понимания законов истории; но очевидно, что на этом пути только лежит возможность уловления исторических законов; и что на этом пути не положено еще умом человеческим одной миллионной доли тех усилий, которые положены историками на описание деяний различных царей, полководцев и министров и на изложение своих соображений по случаю этих деяний. [...] Только допустив бесконечно-малую единиц для наблюдения — дифференциал истории, т.е. однородные влечения людей, и достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно малых), мы можем надеяться на постигновение законов истории. (Толстой 1949, 262).

2. В самом начале перестройки, в середине 80-х годов теперь уже прошлого века в одной из передач невероятно популярного в те времена «Взгляда» возник закономерный вопрос о роли историка в освещении событий, свидетелем которых он непосредственно является. Гостями программы

были молодые аспиранты Московского государственного университета, ученики и адепты известного советского историка профессора Н.Я. Эйдельмана. В ходе обсуждения актуально происходящих в Советском Союзе событий один из ведущих вдруг задал каверзный вопрос: «А что вы будете делать, если все это (т.е., перестройка — Е.П.) вдруг кончится?» Наученные понимать намеки с полуслова аспиранты за словом в карман не полезли. Оказалось, вопрос о гипотетическом «конце перестройки» (а следовательно, начале репрессий) они уже обсуждали в дискуссиях на семинаре своего профессора, который как раз в эти годы принимал активное участие в открытой дискуссии о преобразованиях общественного строя, организованной в т.н. толстых журналах. Ответ Эйдельмана на этот вопрос был таков: «Уйду в историю».

«Уйти в историю» для Эйдельмана означало вернуться к проверенной временем и разрешенной тематике научных исследований, обратиться к материалам времен Державина, Карамзина, декабристов, скрыться от современности, от вопросов, ответы на которые могут быть опасны. Или вернуться к иносказательной манере изложения, убирая в старинные одежды несвоевременные современные мысли? Вот такую запись из его дневника можно найти на официальном сайте:

1966 г. 8 сентября. Несколько дней не записывал: нет ритмической привычки. История с академиком Дружининым — статья против книги Чаадаева в журнале «Коммунист» 1949 г.: во время космополитизма полагалось долбать «своих» космополитов. Дружинин нашел блестящий выход и долбал Чаадаева.

2.1. Объективно ли историческое знание? Существуют ли факты сами по себе? Возможна ли история в отрыве от историографии? На этот вопрос следует ответить отрицательно. Каждая хроника субъективна. Общество «заказывает» свою историю, сообразуясь со своими потребностями, выражаясь современным языком: «интерпретирует факты в рамках актуально действующей парадигмы». Согласно традиционному структурно-историческому подходу, принадлежность к определенной общественной структуре (классу) влияет на свободу выбора члена общества. Исторические процессы формируют человеческое поведение, поэтому власть, идеология, гегемония определенных слоев общества играют решающую роль в анализе политической ситуации. Политические власти оцениваются в связи с результатами их воздействия на общество в процессе реформ существующей общественной организации. Если все люди рассматриваются как часть более общей общественной структуры, общественно ангажированный ученый должен сознательно представлять себе, что является предубеж-

денным, субъективным участником таких процессов. Так, для М. Фуко история равняется идеологии, «история — дискурс власти». Такого рода открытия были на практике реализованы марксистами-ленинистами в России, ведь еще М.Н. Покровский писал, что «история есть политика, опрокинутая в прошлое» (цит. по: Эйдельман 1983).

Наука, а тем более науки гуманитарные, являются не только составной частью идеологического аппарата государства, начиная с самого низшего уровня: школы и высших учебных заведений, — они конструируют и определяют его отдельные институты: религиозные и семейные отношения, правовую и политическую систему, функционирование учреждений науки и культуры (Althusser 1969/1970).

2.2. Главным инструментом, при помощи которого организуется работа всех частей идеологического аппарата государства, является **языковая политика**. Именно языковая политика определяет форму и содержание идеологических принципов. Поскольку нет иных способов передачи мысли, кроме как при помощи языковых средств — нет и иного способа осуществления контроля над мыслью, кроме как осуществление контроля над языком. *Лингвистический энциклопедический словарь* (1998) определяет **языковую политику** как «совокупность идеологических принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем в социуме, государстве». В сфере ее действия оказывается лексико-семантическая система языка (прежде всего, общественно-политическая лексика), проблемы стилистической дифференциации литературного языка, диалектное членение языка и стирание диалектных различий, а также проводимые государством орфографические реформы» (см. там же), а следовательно, нетрудно предположить, что в условиях тоталитарного общества целью языковой политики (*Sprachpolitik*) является влияние на сознание членов общества посредством применения запретов или предписаний в области употребления языковых средств (см. Metzler-Lexikon).

Как известно, сфера запретов и предписаний наиболее четко представлена в общественной жизни тоталитарных обществ, где действует не либеральный принцип «что не запрещено — то разрешено», а обратный: «что не предписано — то запрещено». Конструирование идеологического аппарата, таким образом, оказывается невозможным без средств психологического воздействия (ленинское «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» в виде программы-максимум, осуществляемой сверху), как открытого, так и скрытого, т.е. **манипуляции**, программирования мыслей, чувств, отношений, установок, поведения. Поэтому в связи с вопросом о целях **языковой политики** как совокупности идеологических принципов закономерно возникает сле-

дующий вопрос: в какой степени сознание членов социума является объектом манипуляции и каков характер практических мероприятий, проводимых для их реализации.

2.3. Задачи построения нового, коммунистического общества в России, а что за этим следовало — создания Советского Союза, нового типа государства, и формирование советского человека, нового типа личности требовало от власти создания новой идеологии, при помощи которой можно было бы этим государством и этим социумом управлять. И такая идеология начала создаваться сразу же после прихода большевиков к власти. Однако опыт Гражданской войны показал, что принципы пролетарского интернационализма не действуют на бесконечных просторах многонациональной Российской империи, что декларируемое «право наций на самоопределение вплоть до отделения и создания отдельного государства» не вписывается в перспективу осуществления мировой революции. Такой поворот событий не был предусмотрен марксистской теорией. Как отметил Ж. Рансьер в беседе в М. Фуко: «Маркс никогда не создавал теории власти, и все последующие марксистские течения оказались теориями государственного интереса» (Фуко 1975). Сказанное относится и к диктатуре пролетариата, осуществляемой ленинско-сталинской коммунистической партией.

Испытывая глубокую антипатию к интеллигенции, советская власть предпочитала видеть у руля управления государством людей необразованных, которых не отягощал какой-либо багаж знаний и интеллектуального опыта, свободных от всякого рода аллюзий, а поэтому наивно верящих в то, что им говорили, т.е. удобный материал для промывки мозгов. В 20-е годы для детей интеллигенции были закрыты не только высшие учебные заведения, но и средние школы, в вузах были отменены все ученые степени и ликвидированы кафедры (Бернштейн 2002, 18–19 и след.). Отсутствие образованных государственных чиновников как фактор субъективный, а также своеобразное геополитическое положение и историческое прошлое России в качестве объективного фактора, определило возрождение Российской империи в виде СССР.

Для того, чтобы утвердить необходимую правовую структуру, требуется «обрядить» ее в автохтонные одежды. С этой целью символические элиты обращаются к романтизированному «мифологиям» этноса, надевая их необходимым для насущных целей содержанием (мифологемы «Москва – третий Рим» и т.д.) (Чернявская 2004, 76).

Строители советского государства, будучи воспитанными в широко-масштабном и унифицированном в области национальной политики континууме российской культуры XIX века, даже декларируя создание совершенно новой исторической общности, не могли не воплотить

в своей идеологии государственных принципов Российской империи. Дореволюционная Россия представляла собой страну не только с многоукладной экономикой (преобразование этой экономики в унифицированную экономику «социалистическую» было первоочередной задачей Советской власти, поскольку согласно Марксу-Ленину именно отношение к средствам производства является определяющим фактором в процессе формирования сознания) — российское общество было неоднородным в этническом отношении, представляло собой конгломерат различных культурных групп и сообществ.

Унификация этих групп и страт производится путем переструктурирования истории (создания национальной мифологии в облике строгой науки), универсализации ритуалов, возведенных в ранг государственного церемониала (чаще всего образцом здесь служат ритуалы титульного этноса); поиска доказательств этнографической давности данной культуры и принадлежности к ней «в оны дни» народов-контактеров; этимологических и археологических изысканий, призванных засвидетельствовать древность происхождения нации (Чернявская 2004, 77).

Поиск основ для построения новой государственной идеологии отражается в тех культурно-организационных мероприятиях, которые проводило большевистское правительство на всех уровнях общественной жизни. Л. Троцкий утверждал:

Человеческий род, застывший *homo sapiens*, снова поступит в рациональную переработку и станет под собственными пальцами объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки (цит. по: Пайпс 2002, 87).

И такая обработка, физическая и нравственная, началась в Советской России сразу же после победы Октябрьской революции. Правда, не каждый советский *homo sapiens*, который под «собственными пальцами» должен был, по Троцкому, стать «объектом» искусственного отбора, с поставленной перед ним мюнхгаузеновской задачей справился, а посему, функцию воспитания приняло на себя государство диктатуры пролетариата.

Царская Россия обладала неоценимым опытом проведения русификационной языковой политики внутри государства и на окраинах, где запрет на обучение родному языку начинался с момента подготовки к школе, как показал хотя бы С. Жеромский в своей книге *Сизифов труд*, см. также статью Б.А. Успенского *Николай I и польский язык (Языковая политика Российской империи в отношении Царства Польского: вопросы графики и орфографии)* (Успенский 2004, 123–173). Первоочередной задачей Советской власти стала кампания по лик-

ликвидации безграмотности, которая была проведена успешно согласно декрету Совнаркома *О ликвидации безграмотности в РСФСР* от 26 декабря 1919 года. Вскоре в школах были введены идеологически ориентированные единые образовательные программы с обязательным изучением русского языка.

Таким образом, заботясь об объединении «культурного рынка» (Бурдые 1999), большевистское государство не только унифицировало все прежние культурные коды, реорганизовав их в соответствии с новой системой ценностей, но и создало новые, которые благодаря одновременному распространению их в мире вещей и в мире идей, образовали целостную социальную панораму. Согласно П. Бурдые, именно таким образом формируется представление о национальной идентичности, или национальном характере, а поэтому языковая политика большевистского государства внесла свой непосредственный вклад в дело формирования новой исторической общности, советского человека.

3. Новая советская школа требовала нового содержания, которое должно было наполнить новые учебные программы на всех уровнях обучения. Новые единые обязательные программы для учебных заведений содержали новые предметы обучения, «национальные по форме, социалистические по содержанию». Вместо философии было введено преподавание диалектического и исторического материализма, вместо языкознания — новое учение о языке Н.Я. Марра. Немаловажным представляется в связи с этим также тот факт, что основная учебная дисциплина т.н. «обществоведческого» цикла, преподаваемая в средней и высшей школе, называлась *История СССР*, хотя на самом деле объектом описания данной дисциплины была история России, т.е., Российской империи с древнейших времен до наших дней. Поэтому совершенно закономерным было появление в новых учебных программах вновь созданной дисциплины *истории русского литературного языка* вместо или наряду с историей русского языка. *История русского литературного языка* в отличие от исторической грамматики, отождествляемой с историей языка — науки, ориентированной на «внутреннюю» грамматическую структуру языка, ставит своей задачей описание и систематизацию изменений, происходивших на различных языковых уровнях и отраженных в т.н. письменных памятниках: летописях, законодательных актах, частных документах и т.п., на фоне истории русского народа, — а следовательно — ориентируется на «внешнюю» сторону функционирования языка. Исследования, проводимые в рамках такой дисциплины, а priori должны иметь междисциплинарный характер, то есть, использовать методологический аппарат истории,

социолингвистики и собственно лингвистики (грамматики, лексикологии, диалектологии и др.) для того, чтобы определить, как развивался русский литературный язык в конкретной языковой общности в течение определенных временных периодов, описать, как отдельные формы, словоупотребления, стили речи развиваются в отдельных языковых общностях, социальных и территориальных группах, коллективах и индивидуально.

3.1. В годы перестройки остро встал вопрос о структуре и функционировании Советского Союза, о реальной роли РСФСР в коммунистическом государственном строительстве и идеологии. В конце 80-х годов в союзных и автономных образованиях СССР развернулись движения за расширение функций национальных языков, против русификации, называемое *национальным возрождением*, закончившиеся распадом Советского Союза. В это время националистически настроенная интеллигенция, прежде всего, молодые гуманитарии, подвергли ревизии основные положения истории СССР, и прежде всего, дискурс нерушимой дружбы союзных республик, в том числе «братской Белоруссии» и «братской Украины», неразрывно связанных с о своим «старшим братом» Россией. В сложившихся в Белоруссии и Украине языковых ситуациях преобладания русского языка на всей территории и во всех сферах общественной жизни, возрождение национальных языков и культур на основе современных территориальных диалектов оказалось невозможным, поскольку русский язык СМИ и преимущества городского быта оказались убийственными для местных говоров. Поэтому единственным путем, по которому могло пойти возрождение, оставался путь обращения к прошлому (см. Мечковская 1996, 46).

Таким образом, в посттоталитарный период развития российского общества и постсоветского культурного континуума, состоящего из стран-членов СНГ и бывших союзных республик, одной из тех дисциплин вузовского лингвистического цикла, которая необходимо должна быть проверена на объективность подхода к объекту и предмету исследования, и, в случае необходимости, написана заново, оказалась *история русского литературного языка*.

3.2. В ходе многолетней практики преподавания истории русского литературного языка, а затем истории украинского литературного языка, а также в связи с нашими научными интересами в области белорусского и польского языкознания, нам показалось существенным показать в определенном свете тот факт, что представление и анализ одних и тех же языковых явлений в одном и том же историческом контексте, но с точки зрения национального опыта русских, белорусов и украинцев, довольно сильно различаются. По-разному оцениваются и интерпретируются как

социолингвистические аспекты проблемы происхождения русского, украинского и белорусского языков в восточнославянском языковом континууме, так и социально-исторические типы (страты) языков, внешние и внутренние факторы эволюции письменного языка, а также объем, сфера и результаты их взаимодействия, вопросы государственной языковой политики и т.п. Сопоставительное исследование показывает, что процессе формирования научной области языкознания, называемой «история русского литературного языка», имело место м а н и п у л и р о в а н и е предметом и объектом исследований.

В качестве содержания механизмов м а н и п у л я ц и и перечислим следующие аспекты:

- 1) целенаправленный подбор исторических фактов, составляющих основу исследования или описания;
- 2) контролируемый выбор теоретической базы исследований;
- 3) контролируемый выбор модели описания;
- 4) управление лексическими средствами языка.

3.3. Процесс манипуляции начинается с процедуры выбора исторических фактов и интерпретации их в соответствии с «требованиями времени» (или идеологическими требованиями).

Искушение переписать историю ретроспективно всегда было повсеместным и непреодолимым. Ученые более подвержены искушению переиначивать историю, частично потому, что результаты научного исследования не обнаруживают никакой очевидной зависимости от исторического контекста рассматриваемого вопроса а частью потому, что, исключая период кризиса и революции, позиция ученого кажется неизблемой. [...] Недооценка исторического факта глубоко и, вероятно, функционально прочно укоренилась в идеологии науки как профессии, такой профессии, которая ставит выше всего ценность фактических подробностей другого (неисторического вида) (Кун 2001, 80).

Результатом манипуляции является создание государственной идеологии и мифологии. На ряде специально отобранных и расположенных в необходимой иерархической последовательности фактов позже будут строиться теории, определяющие посредством терминологических и понятийных операций научные и наукообразные модели описания. Сформированные (или заимствованные) научные теории (модели, подходы, поля, парадигмы — в терминологии разных исследователей социологии науки), принятые на вооружение государственным идеологическим аппаратом, самым непосредственным образом будут определять развитие всех уровней государственного языка: орфографию, грамматику, лексический состав и т.п.

4. В следующих разделах настоящей статьи мы рассмотрим более подробно отдельные примеры, которые могут служить иллюстрацией

нашего тезиса о манипуляции. С целью подкрепления данного тезиса мы будем использовать те факты, которые содержатся в памятниках культуры, историографических документах и научных исследованиях и касаются истории и культуры России, Украины, Беларуси, а также Польши.

4.1. В среде историков ведутся дискуссии на тему двух различных способов представления исторического знания: представления «объективного», парадигматически структурированного, опирающегося на причинно-следственные отношения (Хемпель, Поппер, Кун) и противоположного, ориентированного на контекстуальный характер знания, интерпретацию и релятивистскую теорию правды (нарративизм, феминистическая эпистемология, постколониальные студии, психоанализ).

Американский ученый-нарративист Х. Уайт определяет исторический труд как вербальную структуру в форме нарративной прозы. Согласно Уайту, историк воспринимает события в таком порядке, как они следовали, и делает из них историю. То есть, историк не придумывает (*doesn't just find*) историю, а строит события в порядке их следования, отвечая на вопросы «что произошло?», «когда?», «как?», «почему?»; при этом он решает, какие события следует включить в хронику, а какие — нет, оценивая события как главные или второстепенные по степени их важности (White 1973). С легкой руки нарративистов в филологии появился новый термин: *нарратив*, заменивший несколько устаревший неологизм *дискурс*, а также употребляющийся в качестве синонима известных научных терминов *подход*, *способ описания* и др.

С идеями Уайта, классифицировавшего исторический нарратив в категориях литературных жанров (драма, сатира, комедия, трагедия), перекликаются мысли А.Н. Насонова:

И устные, и письменные виды изображения исторической действительности, предшествовавшие летописным сводам, воспроизводили не историю государства или народа, а деятельность отдельных героев, представителей какого-либо знатного рода, или же — отдельные события, жизнь отдельных лиц. Эти виды воспроизведения не только предшествовали, но и сопутствовали летописанию. Появление летописных сводов означало появление таких письменных исторических произведений, которые содержали опыт средневекового построения истории государства, народа или народов, опыт построения и истолкования исторического процесса, как его понимали современники (1969, 12–13).

Насонов отмечает, что древнейшие оригинальные русские летописные своды, такие как Новгородская I летопись, подвергались верификации в более позднее время, о чем свидетельствуют многочисленные вставки

в *Повести временных лет* разных редакций, а также «тенденциозные» пропуски в псковских летописях.

Идеи Уайта и других нарративистов по методологии научного описания истории созвучны также мыслям В.Г. Белинского, высказанным литературным критиком по адресу *Истории государства Российского* Н.М. Карамзина:

Карамзин смотрел на историю в духе своего времени — как на поэму, писанную прозою. Заняв у писателей XVIII века их литературную манеру изложения, он был чужд их критического, отрицающего направления. Поэтому он сомневался как историк только в достоверности некоторых фактов; но нисколько не сомневался в том, что Русь была государством еще при Рюрике, что Новгород был республикою, на манер карфагенской, и что с Иоанна III-го Россия является государством, столь органическим и исполненным самобытного, богатого внутреннего содержания, что реформа Петра Великого скорее кажется возбуждающею соболезнование, чем восторг, удивление и благодарность. [...] герои его истории отчасти напоминают собою героев трагедий Корнеля и Расина. Переводя их речи, сохранившиеся в летописях, он лишает их грубой, но часто поэтической простоты, придает им характер какой-то витиеватости, риторической плавности, симметрии. и заботливой стилистической отделки (Белинский 1979).

Из всех русских историографов, по-видимому, самое большое количество критических замечаний досталось именно Н.М. Карамзину. Либерала Карамзина обвиняли и в приверженности к описанию истории государей, и в ненаучности подхода, и в том, что его труд содержит «произвольные умствования» (Эйдельман 1983). *История государства Российского* с самых первых ее изданий подвергалась цензуре, из нее выбрасывались целые главы, а в 1853 году цензор вычеркнул из одного из сочинений Карамзина слово с о г р а ж д а н е как «революционное». Каждому филологу известна ироническая эпиграмма Пушкина, между прочим, высоко ценившего Карамзина:

Его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Нетрудно себе представить, какую роль сыграла она в запрете на издание исторических трудов Карамзина в годы Советской власти.

4.1.1. Создание российской мифологии начинается, по-видимому, в период царствования Алексея Михайловича Романова — первого Романова, которому в течение продолжительного времени правления (1645–1676) удалось упорядочить российское законодательство, про-

вести церковную реформу и начать формирование будущей Российской империи.

Именно Алексей Михайлович окончательно возвращает России земли Малороссии, отторгнутые от нее враждебными соседями в лютую годину татарского нашествия. Именно он ведет с Польшей — давним и непримиримым врагом Руси — необыкновенно трудную войну и оканчивает ее блестящей победой (Митрополит Иоанн (Снычев) <http://www.hrono.ru/biograf/alexei.html>).

Автор статьи, перечисляя заслуги Тишайшего царя, извращает подлинное отношение его к западной культуре, восхваляя царский труд — *Соборное уложение* 1649 г., отбрасывает за ненужностью тот факт, что *Уложение* было составлено под непосредственным влиянием *Статута Великого княжества Литовского* 1588 г., с которого были переписаны целые главы. Описывая быт царской семьи: строгие посты, обязательное участие в утренних и вечерних службах в Коломенском, не упоминает о том, что Алексей Михайлович приблизил к себе выходца из Литвы, воспитанника Киево-Могилянской академии, «латинника», к тому же сделал его не только воспитателем своих детей, но и своим придворным астрологом (<http://www.hrono.info/statii/2003/peter.html>).

4.1.2. В контексте «стязания с латиной», т.е. постоянной непримиримой вражды с Западом, формируется представление об истории русской православной церкви. Предметом манипуляции стала история церковнославянского (славенского, славянского) языка, оценка его места и роли в русском (и восточнославянском в целом) культурном пространстве. Фактически изучение того церковнославянского языка украинской («южно-русской») редакции, который во многом определил современное состояние русского литературного языка на различных стилистических уровнях — языка, на котором формировалась вся восточнославянская культура средневековья, Возрождения, Барокко и Просвещения, только начинается.

В размышлениях по поводу доклада О.Е. Майоровой «*Национальное* vs. «*конфессиональное*» в идеологических моделях конца XIX века (греко-болгарская церковная распря и унианистские проекты русских консерваторов) В.М. Живов отмечает, что вопрос этот «периферийный для русской истории», оказывается тем не менее наполненным принципиальным идеологическим содержанием. В контексте конфликта, связанного со стремлением болгарской православной церкви к автокефалии, невозможно не вспомнить о желании России времен Смуты утвердить себя в качестве единственной православной империи в мире, наследницы Византии. Отношения между Россией и Великим княжеством Литовским (просто Литвой, заметьте, какая разница меж-

ду наименованием крупнейшего во времена Возрождения и Барокко европейского государства и сборным существительным) описывались уже по-новому:

В нарратив исторической памяти была введена эпоха первых Романовых, и это потребовало новой трансформации нарратива забвения. Теперь нужно было забыть про московских патриархов, про их скромное положение в плероме православной церкви и, соответственно, про диспропорцию между универсальным характером православной империи и локальным статусом русской православной церкви (Живов 1999, 251).

Во второй половине XIX века, когда окончательно сформировался миф о российской православной государственности, представление о реальной борьбе между московской и украинской православной церковью, окончившейся подчинением московскому патриарху киевской митрополии и сопровождавшейся территориальной экспансией России Алексея Михайловича, присоединением Украины и других земель Великого княжества Литовского, была подменена представлением о борьбе России за истинную веру, против католической экспансии на восток. Реальное положение дел в Речи Посполитой: ее реальная государственная республиканская структура, зафиксированная не только в трех Статутах (1529, 1566, 1588 гг.), но и в подзаконных актах, структура исполнительной власти, отраженная в городских актовых книгах, межнациональные и межрелигиозные отношения, отражающие первые стремления к экуменическому объединению христианских конфессий, — все оказывается измененным в представлениях российского гражданина в связи с опубликованием одних исторических текстов и укрытием других (последний Статут Великого княжества Литовского, который на самом деле функционировал в судопроизводстве до 1839 года, после долгого перерыва был издан в Минске в юбилейном 1988 г.). Таким образом, оказывается скрытой от российских этнофоров реальная причина конфликта между двумя русскими государствами, претендующими на доминацию в регионе: конфликта между стареющей метрополией и получившей независимость колонией, подобного тому, который привел к установлению независимости Соединенных Штатов Америки. В таком историческом контексте уже нет места представлениям о мирных дипломатических отношениях между двумя русскими державами, подтвержденных документально и описанных в трудах Карамзина или Соловьева. Из общественной памяти оказываются исключенными такие факты, как русское происхождение Рюрикoviча Ягелло и его потомков, а следовательно, законность притязаний Владислава IV (Ягеллона и Рюрикoviча) на московский престол; желание

Ивана Грозного, а затем Федора Иоанновича (или Бориса Годунова) объединить Речь Посполитую и Великое княжество Московское в единое государство (оба участвовали в разное время в элекции на вакантное место польского короля); истинная роль московских бояр в воцарении Лжедмитрия I, посаженного на трон – в нашем современном понимании – украинскими и белорусскими феодалами; распространение русской письменности и книжной культуры из Киевской Руси, а затем из Великого княжества Литовского на север на протяжении более чем восьми столетий и постоянная централизованная подпитка дьяческих и писарских канцелярий кадрами, выученными на Украине и в Литве, где появились первые университеты, организованные по европейскому образцу; начало русского книгопечатания (в 1517 г. Франциск Скорина издал в Праге *Псалтырь*, в 1517–1519 гг. 23 книги Библии в собственном переводе на русский язык — не на словенский!, в 1525 г. в Вильне *Апостол* — и только этот последний факт был отмечен в *Истории Соловьева* безыменно); создание русского алфавита в Амстердаме литвином (украинцем? белорусом?) Ильей Копиевичем, откуда его и привез Петр I и др. Не упоминая факт появления в XII–XIII вв. в Европе, а неизбежно вскоре — в Галицко-Волынской Руси и Великом княжестве Литовском — бумаги и бумагоделательного производства, а что за тем следовало — распространение книгопечатания — невозможно объяснить, почему вдруг с XIV века и именно с этого времени начинается распад древнерусского языка на три отдельные восточнославянские языки. «XIV век — время борьбы между пергаменом и бумагой», — пишет А. И. Соболевский (2008). Именно в это время из-за относительной дешевизны бумаги стало появляться все больше частных документов во всех уголках Великого княжества Литовского, а поскольку никаких грамматических предписаний не существовало, писали писари, как бог на душу положит, — и в духовных грамотах и в актовых книгах отразились украинские и белорусские диалектные особенности. Вот, например, *Продажная Хоньки Васковой на Калеников монастырь* (1378 год, всего на один год позже самого старшего списка *Повести временных лет*). И комментарий к ней: «Орфография грамоты отражает некоторые особенности формирующегося украинского языка» (Хрестоматия 1990, 123–125). Комментарий можно понимать двояко: или речь идет о том, что в русском языке грамоты (в целом) проявляются некоторые особенности украинского языка, или о том, что некоторые особенности украинского языка (отдельные, не все) в этой грамоте можно распознать.

В контексте постоянной борьбы православия и католичества рассматривается вопрос о «запрещении» русского языка в делопроизводстве

Великого княжества Литовского (Kurzowa 2006). Зато ни в одном учебнике не упоминается о запретах на украинское книгопечатание вследствие широкого распространения еретических идей Возрождения и Реформации: первый запрет был отдан в 1627 году московскими церковными властями (патриарх Иоаким предал анафеме произведения украинских богословов, а с 1672 г. и светские власти приказали сжигать все книги, напечатанные в Литве и на Украине. Жгли книги и в занятом войсками Петра униатском Полоцке, и в царствование Николая I после ликвидации церковной унии (1839 г.) по всей Белоруссии и Украине. Исторические документы говорят о том, что развитие украинского и белорусского языков в конце XVIII века прекратилось отнюдь не только по причине распространения на землях Речи Посполитой польского языка и культуры. До 1782 года детей и взрослых в народных школах учили грамоте украинские странствующие дьяки, выпускники Киево-Могилянской и других украинских и белорусских академий, а правительство Екатерины II насильственно ввело обязательное обучение на русском языке, что привело к общей безграмотности украинского населения сел и местечек. Последний указ о запрещении украинского языка был издан 18 мая 1876 г. Согласно этому указу запрещалось ввозить в пределы империи без особого разрешения Главного управления по делам печати каких бы то ни было книг и брошюр, издаваемых на малороссийском наречии, а также печатать и издавать в империи оригинальные произведения и переводы на этом же наречии, за исключением исторических документов и памятников (в подлинной орфографии), а также произведений изящной словесности (в русской орфографии) (Огієнко 2001). Добавим, что подобного рода запреты распространялись и на старообрядческую литературу, которая издавалась во второй половине XIX века в подпольных типографиях, в том числе в Восточной Пруссии (г. Пиш) и ввозилась в Россию нелегально.

Сталин, запретив в СССР в 20-е католическую церковь и в 1946 году заставив западноукраинских греко-католиков перейти в православие (на территории Российской империи униатская церковь была запрещена в 1839 г.), фактически объявил себя атеистом православным. За этим последовала борьба с национализмом в Украине и Белоруссии, физическое уничтожение одних историков языка и обречение на забвение других, а затем — аннексия Западной Белоруссии, Западной Украины, Бессарабии и Прибалтики — а как же? русские же земли! — и проведение новой государственной границы между Белоруссией и Литвой, зачеркнувшее не только русскую историю Вильна, но и выбросившее за пределы белорусского государства носителей тех белорусских говоров, которые были положены в основу возрождаемого белорусского языка.

Впрочем, американский историк Э. Л. Кинан сомневается в правомерности выводов, касающихся роли православной церкви в формировании российской официальной идеологии в XVII веке (Кинан 2008). Однако нам кажется, что, будучи представителем американской технократической культуры, профессор Кинан несколько недооценивает роль догматического учения православной церкви в формировании культурного мировоззрения средневекового русского общества.

4.2. Говоря о теоретической базе научного описания, с одной стороны, мы имеем в виду ту теоретическую основу, которая формирует понятийно-терминологический аппарат исследования. В XIX веке в России, как и во всей Европе, были сильны социал-демократические движения. Социал-демократическая идеология продолжает свои традиции и в сегодняшней Европе. Поэтому наряду с принципами официальной народности, в сознании русской интеллигенции присутствовали также принципы буржуазно-демократические — как одни, так и другие составили идейно-политическую базу марксистско-ленинской теории государства. С другой стороны, исторические и лингвистические факты интерпретировались в рамках собственно языковедческой парадигмы (дискурса). И выбор научного дискурса так же мог стать ареной политической борьбы.

4.2.1. Оценка всей культурно-политической истории Руси в курсе истории русского литературного языка дается с опорой на марксистско-ленинские представления о классах и нациях. Подобный анахронистический подход тоже представляет собой средство манипуляции сознанием. Потому что средневековое общество и общество эпохи Возрождения, в классификации Э. Геллнера «доиндустриальное, агрограмотное», радикально отличается по своей социальной структуре от общества капиталистического:

Дело в том, что все сложные разветвления родства, занятий, расселения, политического союзничества, социального статуса, религии, цепи ритуалов очень часто пересекаются друг с другом, образуя крайне запутанную структуру, а вовсе не те заметные культурные различия между крупными человеческими общностями, которые привычны для нас в современном мире и которые мы рассматриваем как национальные границы (Геллнер 1991).

В качестве конкретного примера приведем следующий тезис: *польские магнаты жестоко эксплуатировали украинское и белорусское крестьянство*. При формулировке данного тезиса отсутствуют две необходимые посылки: первая — тот факт, что польские магнаты угнетали также польских крестьян, вторая — то, что украинских и белорусских крестьян угнетали также украинские и белорусские магнаты. Отсутствие

этих посылок в пресуппозиции приводит к ошибочным выводам о том, что во-первых, по-видимому, польские магнаты не были так жестоки по отношению к польским крестьянам, во-вторых, украинских и белорусских магнатов не существовало в природе, в-третьих, эксплуатация украинского и белорусского крестьянства стала менее жестокой (или прекратилась совсем), как только Украина и Белоруссия оказались в составе Российской империи. На самом деле, социальные отношения в Речи Посполитой были намного сложнее, чем их представляет история СССР. Национальная принадлежность «польских» магнатов не совпала ни с их родовой, ни даже конфессиональной принадлежностью: для россиянина Иеремий Вишневецкий, Адам Чарторыский или Михаил Огинский — поляки, хотя все они происходили из русских (украинско-белорусско-литовских) православных семей, князя Вишневецкие вели свой род от Гедиминовичей, а Михаил Корибут-Вишневецкий (сын Иеремии, возглавившего армию Речи Посполитой в войне с казаками Хмельницкого) даже был избран польским королем.

4.2.2. История литературных языков как самостоятельная дисциплина, по сравнению с исторической грамматикой, появилась относительно недавно. Поначалу сам объект исследования казался многим языковедам ненаучным. Такова была точка зрения А.И. Томсона:

Все языки и наречия, даже самых диких и некультурных народов, имеют одинаковую ценность для науки; последние, во всяком случае, являются лучшим объектом для научного исследования, чем литературные языки просвещенных народов, которые для лингвиста то же, что оранжерейные растения для ботаника (Томсон 1906, 4).

Л.А. Булаховский в своих *Очерках по общему языкознанию* в 1928 г. писал о том, что основную методологическую проблему для вновь формирующейся науки представляет решение вопроса о принципах периодизации соответствующего материала, а также установление прочных связей истории литературных языков с факторами общего исторического процесса на конкретной национальной почве (1975, 84). Опасения Булаховского имели под собой веское фактическое обоснование: идеология формирующегося советского государства будет опираться на русской государственной доктрине, сравнительно-историческое языкознание будет объявлено буржуазной наукой, а сталинская история русского литературного языка будет строиться исходя из тезиса «Россия — старший брат народов СССР».

4.2.3. Словарь Метцлера указывает на соответствие русскому термину *литературный язык* немецкого *Standardvarietät*. С точки зрения авторов словаря, определение стандартизированной разновидности

языка в его письменной и устной форме как «литературного языка» вводит в заблуждение. Несмотря на то, что в основе термина «литературный» лежит предположение о том, что стандартизированная разновидность языка формируется, как правило (но не безусловно!), сначала в письменной речи, а затем — в устной, традиционная теория литературного языка, являющаяся частью марксистской исторической теории, согласно которой возникновение литературного языка является необходимой ступенью развития буржуазного общества на том этапе, когда для удовлетворения коммуникативных потребностей граждан уже недостаточно использование диалектной и разговорной речи. Литературному языку в эпоху феодализма предшествует язык народности. Если в буржуазном обществе литературный язык служит социальному разделению классов, то при социализме, он способствует уничтожению образовательных барьеров между классами (Metzler-Lexikon 1993). В связи с предыдущей мыслью и в контексте истории СССР мы прочтем следующие рассуждения П. Бурдые:

Культурное и языковое объединение сопровождается навязыванием доминирующих языка и культуры в качестве законных и отказом от всех других как лишенных прав на существование (местные наречия). Доступ какого-то одного языка или своеобразной культуры к универсальному сразу же делает остальные особенными, частными. Кроме того, в силу того, что установленная таким образом универсализация требований не сопровождается универсализацией доступа к средствам их выполнения, то она в то же время способствует монополизации универсального некоторыми и обделению всех других, некоторым образом искаленных в их человечности (1999).

Для подтверждения справедливости данных рассуждений напомним известное сталинское утверждение о первенстве русского языка — языка победившего в России пролетариата — перед остальными языками Советского Союза.

В царской империи она отличалась неприкрытой прагматичностью: значительная степень терпимости, иногда и безразличия проявлялась там, где, по разумению власти предрешающей, функционирование местных языков не представляло непосредственной опасности государству (немецкий на прибалтийских землях до 1915–1916 гг., финский и шведский в Великом княжестве Финляндском, грузинский и армянский соответственно в Тифлисской и Эриваньской губерниях и т.д.). Тогда же, когда признавалось, что укрепление местного языка способно угрожать устоям режима (украинский в Малороссии, польский в Царстве Польском после восстания 1830 г.), ему в этом препятствовали (Дьячков 1995, 68).

Впрочем, к политике русификации Сталин обратился не сразу. Не обладая никакими навыками научной работы, большевистские чиновники в области управления наукой и образованием вынуждены были основываться на опыте тех ученых, которые, во-первых, соглашались с ними сотрудничать, а во-вторых, могли предлагать идеи, близкие теории марксизма. Осуществляя старый римский принцип «разделяй и властвуй», Сталин, стоя у руля бюрократического и карательного аппарата государства то и дело менял курс, по ходу дела уничтожая «всех и всяческих» несогласных. В первые годы Советской власти в РСФСР реализовалась политика, направленная на распространение мировой революции, и с этой целью была принята попытка перевести русский язык и все письменные языки народов России на латиницу, а затем создать латинские алфавиты для тех языков, которые письменности не имели. Борясь в начале 20-х годов с «великодержавным шовинизмом», Сталин в начале тридцатых уничтожил украинских и белорусских националистов, «нацдемов», положив конец надеждам на национальное возрождение в Белоруссии и Украине. Потом наступила очередь «Российской национальной партии», по «делу славистов» 1933–1934 гг. проходили этнографы, искусствоведы-работники Русского музея и Эрмитажа, специалисты по сравнительно-историческому языкознанию, а также славистов и русистов, работников Института славяноведения АН СССР. Обвинив ученых в том, что они «вели широкую нац. фашистскую пропаганду панславистского характера» по указанию «заграничного русского фашистского центра», возглавляемого Н.С. Трубецким, сталинское правительство в конце 30-х годов совершило крутой поворот в научной политике, присвоив себе точку зрения евразийцев и веру с особое предназначение России в Европе в целом и в славянском мире в особенности. Возрождение славистики в Советском Союзе, как можно предположить, непосредственно связано с началом II Мировой войны и захватом территорий Западной Белоруссии, Западной Украины и Молдавии. В своих мемуарах *Зигзаги памяти* С.Б. Бернштейн пишет:

О необходимости возродить в нашей стране подготовку славистов, хорошо знающих язык и культуру западных и южных славян, начали говорить в самом конце 30-х годов. Война дала мощный толчок этим новым настроениям, пришедшим на смену открытой славянофобии. В первой половине августа 1943 г. было принято решение открыть на филологическом факультете МГУ отделение славянской филологии (Бернштейн 2002, 23).

Нетрудно соотнести решение об открытии отделения славистики, — и тут необходимо уточнение: зарубежной славистики! — в Мос-

ковском университете, со сталинской перспективой будущего раздела Европы после победы над гитлеровской Германией. Для украинской и белорусской филологии запрет остался актуальным, изучение украинского и белорусского языков в Московском и Санкт-Петербургском университетах началось совсем недавно, в последние десять лет, хотя время показало, что Россия нуждается в учителях белорусского языка для школ, находящихся на территориях, где существуют белорусские диаспоры, например, в Уфе.

Стоит отметить, что история русского языка изучает исключительно внутриязыковую историю форм современного русского литературного языка, языка титульной нации России и в ее сегодняшних границах, для приличия несколько разбавленного данными диалектов (опять же западно-русских или южно-русских). Согласно *Диалектологическому атласу белорусского языка* (*Дыялекталагічны атлас беларускай мовы* 1963), белорусские диалекты не распространяются дальше государственных границ БССР (по частным замечаниям белорусских диалектологов, такие «указания» были даны «свыше»). Больше повезло украинскому атласу (*Атлас української мови*): он издавался со второй половины 80-х годов.

4.3. В последние десятилетия советская наука, выросшая и сформировавшаяся на марксистской почве, старается избавиться от категорического марксистско-ленинского отношения к различию мнений и подходов. Постепенно и в работах по русской истории и культурологии появляются идеи, которые в прежние времена могли быть высказаны только в кулуарах и только доверенным знакомым.

4.3.1. Первое из основных положений истории русского литературного языка — это тезис о древнерусском языке как о общем праязыке восточных славян. Если происхождение всех славянских языков от одного праславянского находит свое обоснование в сравнительно-историческом языкознании, то сформулированная в окончательном варианте А.А. Шахматовым теория древнерусского языка подвергалась критике многочисленных оппонентов, прежде всего украинских лингвистов, которые, например, утверждали, что Киевская Русь дописьменного периода была объединением политическим, а ни в коем случае не языковым. Основные фонетические и грамматические черты украинского языка содержались уже в самых древних памятниках, по крайней мере, в памятниках XI в. С точки зрения И. Огиенко, появление идеи восточнославянского единства и ее оформление в качестве положения истории русского (литературного) языка было связано со стремлением России доказать свои права на аннексированные украинские земли. В своей книге *Історія української мови* (первое издание: Виннипег, 1949) он проводит следующие историко-социолингвистические параллели:

«політичні українці» по Першій світовій війні появились й по інших державах слов'янського світу. Серби захопили хорватів і їх наука стала всіма силами доводити, ніби хорватська мова — це тільки наріччя сербської, що є тільки одна сербохорватська мова. Так само чехи захопили Словакію і так само їхня наука стала доводити, ніби є одна чехословацька мова. Більше того, росіяни, серби й чехи тихо подали один одному руки й спільно доводили, що нема окремих мов ані української, ані хорватської, ні словацької. Польська наука, так само політично заінтересована в своїх українських підданцях, стала робити те саме, наприклад, проф. А. Брюкнер. Учений світової слави В. Ягіч у своїх німецьких писаннях в Австрії зве українську мову окремою самостійною мовою, а в російських писаннях — тільки за наріччя. Покійний наш проф. С. Смаль-Стоцький, що ревно боронив самостійність української мови, живучи в Чехах, не визнавав ані словацької, ані хорватської мови за мови самостійні (Огієнко 2001, 62).

С другой стороны, трудно отрицать тот факт, что распространение христианства на землях восточных славян было связано с Киевской экспансией, а следовательно, письменные языки белорусов и русских формировались в течение нескольких веков под сильным влиянием книжного языка Киевской Руси, как бы мы его ни называли: древнерусским или древнекиевским (вслед за: Русанівський 2001). В связи с теорией о происхождении восточнославянских языков от общего предка, построенной в русле сравнительно-исторического языкознания (генетической теории), следует упомянуть о другом подходе к глоттогенезу и о развитии языков вследствие языковых контактов.

Родство украинского, белорусского и русского языков, как и предполагаемое братство русского, украинского и белорусского народов для русской интеллигенции в XIX в. вовсе не было очевидно. Прежде всего потому, что ни украинский, ни тем более белорусский язык не функционировали в их национально-историческом сознании как отдельные языки. Это были наречия русского языка. Русский язык и русская культура для В.Г. Белинского были источником тех высоких образцов для подражания, которым должны были бы следовать украинцы (малороссы) и белорусы. То, что Белинский в 1941 г. высказал по поводу сборника украинской литературы, изданного Е. Гребенкой в Петербурге, было повторено и повторяется многократно на разные лады русификаторами разной партийной принадлежности:

Предстоит важный вопрос: есть ли на свете малороссийский язык, или это только областное наречие? Из решения этого вопроса вытекает другой: может ли существовать малороссийская литература и должны ли наши литераторы из малороссиян писать по-малороссийски? [...] Малороссийский язык действительно существовал во времена самобытности Малороссии и существует теперь — в памятниках народной поэзии тех славных времен. Но это еще не значит, чтоб у малороссиян была литература: народная поэзия еще

не составляет литературы. [...] не должно забывать, что Малороссия начала выходить из своего непосредственного состояния вместе с Великороссиею, со времен Петра Великого; что до тех пор какой-нибудь вельможный гетман отличался от простого казака не идеями, не образованием, но только старостию, опытностию, а иногда только богатым платьем, большими хоромами и обильною трапезою. [...] Но с Петра Великого началось разделение сословий. Дворянство, по ходу исторической необходимости, приняло русский язык и русско-европейские обычаи в образе жизни. Язык самого народа начал портиться, — и теперь чистый малороссийский язык находится преимущественно в одних книгах. Следовательно, мы имеем полное право сказать, что теперь уже нет малороссийского языка, а есть областное малороссийское наречие, как есть белорусское, сибирское и другие, подобные им областные наречия. [...] А малороссийское наречие одно и то же для всех сословий — крестьянское. [...] Хороша литература, которая только и дышит, что простоватостию крестьянского языка и дубоватостию крестьянского ума (Белинский 1979).

Белинский считал, что Украина никогда не была государством, а следовательно, не имела своей истории. История Украины (Малороссии) для него не более как эпизод из царствования царя Алексея Михайловича (Белинский 1979). «Ох мне эти хохлы! Ведь бараны — а либеральничают во имя галушек и вареников с свиным салом!», — писал он в письме к Анненкову (Белинский 1956, 441).

Выбор теоретической модели описания предполагает создание и использование определенной терминологической системы. Между тем сам термин «русский» язык в истории славистики однозначно не определяется:

Выражение «русский язык» имеет несколько значение. В самом широком смысле слова оно обозначает язык всего русского народа или всех восточных славян во всех его различиях местных, классовых и функциональных. В более узком смысле это выражение означает только литературный русский язык, исключая не только все разговорные русские наречия, но и другие литературные языки, которые находятся в употреблении у некоторых частей русского народа, а именно язык украинский, а в последнее время и литературный белорусский и карпаторусский язык (Дурново 1969, 8).

Так писал в 1927 году Н.Н. Дурново в своей книге *Введение в историю русского языка*, вышедшей в Праге, разделяя предмет истории русского языка как историю совокупности всех отдельных русских языков и наречий и истории литературного языка, того литературного языка, который называется «русский» (там же, 9). В славистике известны проблемы подобного рода: остаются нерешенными проблемы происхождения каждого из славянских племен и проблема «прародины славян» в целом. Имевшие место в славянской истории конфликты политического и культурологического характера сегодня препятствуют не только

решению общей проблемы глоттогенеза славянских языков, но и сколько-нибудь объективному частному анализу языковых фактов. Известно также следующее высказывание А. Брюкнера: «Человек, который даст верное определение термина *Русь* найдет ключ к древнерусской истории» (цит. по: Геллер 1997). В 1856 году была обнародована теория М. Погодина, согласно которой россияне-поляне с глубокой древности жили на Днепре, но татарское нашествие заставило их перебраться на север, где они создали русский народ. Согласно Погодину, опустевшие приднепровские земли заняло западное население, галичане, и таким образом, оказалось, что основали Киевскую Русь и приняли христианство те россияне, которые позже переселились в Московское княжество, а украинцы — новый народ — появились в XIV веке, и их претензии на культурное наследие Киевской Руси лишены оснований (Огієнко 2001). Теория Погодина научно, с точки зрения истории, обосновывала неправомочность употребления в отношении украинцев и белорусов этнонима «русские».

4.3.2. Среди тех научных теорий, которые подвергаются критике, — т.н. теория диглоссии в древнерусском языке Б.А. Успенского, а также теория близкородственного билингвизма. Впрочем, теория Успенского, представившего языковую ситуацию в Киевской Руси в русле структурализма, т.е., как оппозицию языка церковнославянского и древнерусского, уже успела превратиться в «отработанную и отвергнутую гипотезу» (Шапир 1997, 359). М. Шапир утверждает, что в монографии одного из ведущих представителей Тартуской семиотической школы *Краткий очерк истории русского литературного языка (XI—XIX вв.)* систематически нарушаются основные законы формальной логики: закон тождества, закон противоречия и закон исключенного третьего (определения двуязычия и диглоссии сформулированы как взаимно исключающие).

Так, фундаментальное понятие языка оказывается неравным себе в пределах одной книги (при этом самый факт подмены понятия автор не оговаривает). На с. 38, рассуждая о церковнославянско-русской диглоссии древнейшего периода, Б.А. Успенский (вслед за А.В. Исаченко) разграничивает «два языка», опираясь главным образом на грамматические критерии. Исследователь сознательно закрывает глаза на лексическую недифференцированность русского и церковнославянского: «[...] лексика наименее показательна [!] при различении книжного и некнижного языка, поскольку лексический уровень характеризуется большей проницаемостью, чем другие». На с. 13–138, уверяя, что «отношение между литературным и разговорным языком» у Третьяковского «строится по принципу диглоссии», Б.А. Успенский

(вопреки А.В. Исаченко) разграничивает «два языка» — «литературный („славенороссийский“) и разговорный („российский“)\», опираясь уже главным образом на лексикологические критерии: «[...] „славенороссийский“ язык предстает как результат искусственной архаизации разговорного языка за счет церковнославянских средств выражения, осуществляемой прежде всего в лексическом плане [!]\». Получается, когда речь идет о XII в., один язык в отличии от другого — это, в первую очередь, грамматика, а когда о XVIII в., — в первую очередь, лексика (там же, 363).

4.4. В сфере управления собственно языковыми средствами можно было бы рассмотреть подробно такие аспекты, как

- 1) проведение орфографических реформ,
- 2) отношение к заимствованной лексике,
- 3) формирование терминологической системы,
- 4) формирование топонимики,
- 5) создание культурно-исторических концептов, базирующихся на противопоставлении «свой/чужой».

4.4.1. Орфографическая реформа русского языка, осуществленная Советской властью в 1918 г., на самом деле была подготовлена еще Орфографической подкомиссией при Императорской академии наук под руководством А.А. Шахматова. Вслед за Россией Беларусь и Украина создали международные комиссии, которые занялись вопросами нормализации и стандартизации литературных языков. В традиционной истории замалчивается тот факт, что работа комиссий была прервана в начале 30-х гг. в связи со сталинской кампанией по борьбе с национализмом. Проведенные в 1933 году реформы орфографии и грамматики оцениваются как «русификаторские», а независимые Беларусь и Украина в течение всех прошедших послеперестроечных лет решают вопрос новой нормативной орфографии и грамматики (Мечковская 2003; Потехина 2006а, 2006б). Проблема, однако, состоит в том, что окончательное решение вопроса об отечественной орфографической норме оказывается тесно связанным с государственной политикой:

Правописание, заданное и гарантированное государством как нормальное по праву (т.е. согласно государству), является социальным артефактом, лишь слегка обоснованным логическими и просто языковыми причинами, которые сами являются результатом процесса нормализации и кодификации, вполне аналогичного тому, что государство осуществляет во многих других областях (Бурдые 1999).

4.4.2. Отношение к заимствованной лексике (*ibid.* фразеологии) и политика разрешения или запрета заимствований принадлежат к сфере

языковой политики, т.е., к сфере языковой кодификации и нормализации. Связь внешней политики с проблемами внутривнутриполитической организации общества хорошо показана в статье П. Векслера *Взлет (и падение) современного белорусского литературного языка* (Wexler 1979), а также в его книге *Purism and Language: A Study in Modern Belorussian and Ukrainian Nationalism*. В.М. Живов пишет следующее:

Широкое использование заимствований оказывается культурно значимым феноменом едва ли не повсеместно.[...] В России эпидемии заимствований приходится на периоды политических и культурных катаклизмов.[...] Экстенсивное употребление заимствований символически осуществляет отказ от предшествующей культурно-политической традиции, которая воспринимается как национальная доминанта и как воплощение и символическая основа ниспровергнутого социального порядка (Живов 2005, 62).

О лингвистических и экстралингвистических причинах отсутствия общей истории и теории заимствований в славянских языках (на материале польских заимствований в белорусском языке) см. в статье: *Rosiechina 2006a*.

4.4.3. Формирование агрессивного дискурса борьбы, в который вписывалась борьба церковей, борьба православия с ересью и старообрядчеством, борьба украинских казаков с ляхами, битва за урожай, битва за знание и т.п. (Сербенська, Волощак 2001).

4.4.4. Частью исторической лексикологии в рамках истории русского литературного языка должна стать восточнославянская этнонимика, рассматриваемая на фоне разного рода контактов русского, украинского и белорусского народа как во внутренней межнациональной и междиалектной коммуникации, так и во внешней.

В лингвистике и этнографии хорошо известен тот факт, что название наций, народностей или племен, данное колонизаторами, завоевателями и просто соседними народами, часто не соответствует самоназванию. Порой в основе самоназвания народа (а также его происхождения) определенную роль играет мифология, подлинная или созданная в кругах «будителей». Как таковую можно рассматривать консолидирующую идею Запорожской Сечи как колыбели независимого самосознания украинского народа (у Гоголя, Шевченко), или Литвы — общей колыбели белорусско-польско-литовской культуры (у Яна Чечета, Яна Борщевского или Адама Мицкевича).

О функционировании этнонимов *л и т в и н ы* по отношению к белорусам, *р у с с к и е* по отношению к украинцам или *м о с к а л и* по отношению к жителям Московской Руси (Московии) существует обширная литература, среди последних работ можно перечислить следующие: Пів-

торак 1998; Наконечный 1998; Ковалёв 2003. Многие местные этнонимы требуют исторических комментариев, например: кривичи (одно из самоназваний белорусов), русины (название карпатских украинцев, по-польски именуемых лемками), а также наименование украинцев черкесами, сохранившееся в документах XVI в. и в белорусских говорах, и белорусов хохлами (в речи ветковских старообрядцев).

4.4.5. Исторический фон необходим для объяснения фактов создания и функционирования специфических эмоционально окрашенных культурных концептов, среди которых перечислим следующие, как положительно, так и отрицательно коннотированные в сознании российских, белорусских и украинских этнофоров: Святая Русь, Литва, Речь Посполитая, польская шляхта, польские паны, (бело)панская Польша и т.п. Кому пишут письмо запорожские казаки на картине Репина?

5. С течением времени оказалось, что за исками, предъявляемыми к истории памятью, кроется множество ловушек. Память стала дискурсом власти в процессе образования истории самоидентифицирующихся групп, а отношение к дискурсу памяти все больше стало означать «политическую правильность». Память поддалась процессу идеологизации и оказалась так же полезна в этом отношении, как и критикуемая ей история (Domańska 2006, 17).

В соответствии с междисциплинарным характером исследований в области истории русского литературного языка, необходимостью координировать данные историографии, социологии, антропологии, палеографии и собственно языковые данные, история русского литературного языка в контексте новой гуманистики с учетом политической корректности могла бы быть названа исторической лингвистикой восточнославянских языков. Такой подход учитывал бы точку зрения всех этносов, входящих в восточнославянский культурный континиум и — при условии всестороннего анализа накопившихся спорных проблем — позволил бы избежать дальнейших конфликтов на национальной почве.

С нашей точки зрения, противопоставление новой гуманистики старой не имеет под собой достаточных оснований, поскольку целью всех научных исследований есть открытие истины, и если новая гуманистика располагает для этого новыми методами исследования, то оба подхода: и традиционный, и новогуманитарный, должны только дополнять друг друга. Что же касается истории русского литературного языка, то самое время обратиться к первому русскому историку В.Н. Татищеву, который предварил главный труд своей жизни *Историю российскую* словами о пользе истории для других наук, а русскую историографию напутствовал так:

Басни правду затемняют. Что к пользе собственно русской истории относится, то равно о всех прочих разумеать следует, и всякому народу всякой области знание своей собственной истории и географии весьма нужнее, нежели посторонних, однако ж должно и то за верное почитать, что без знания иностранных своя не будет ясна и достаточна (Татищев 2008).

Литература

- Белинский, В. Г. (1979), *История государства Российского*. Сочинение Н. М. Карамзина. В кн.: Белинский В. Г., *Собрание сочинений*. В 9-ти томах., Т. 5. *Статьи, рецензии и заметки, апрель 1842–ноябрь 1843*. Москва (доступно в WWW по адресу: <http://www.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_3070.shtml>).
- Белинский, В. Г. (1956), *Письмо к П. В. Анненкову*. В кн.: *Полное собрание сочинений в 13-ти тт.* Т. 12: *Письма 1841–1848*. Москва, с. 435–442.
- Бурдые, П. (1999), *Дух государства: генезис и структура бюрократического поля*. Москва–Санкт-Петербург.
- Геллер, М.Я. (1997), *История Российской империи*. Москва (доступно в WWW по адресу: <http://www.krotov.info/history/11/geller/ind_gell.html>).
- Геллнер, Э. (1991), *Нации и национализм*. Москва (доступно в WWW по адресу: <http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/gelln/index.php>).
- Дьячков, М.В. (1995), *Родной язык и межэтнические отношения* (доступно в WWW по адресу: <<http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2006/03/11/0000272454/012Dyachkov.pdf>>).
- Евгеньева, А. П. (1983), *Словарь русского языка*. Москва.
- Живов, В. (2005), *На обратном пути к имперской благопристойности. Заметки о Федеральном законе Российской Федерации от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ О государственном языке Российской Федерации*. «Russian Language Journal» № 36, с. 57–66.
- Живов, В. М. (1999), *О превратностях истории или о незавершенности исторических парадигм*. В кн.: *РОССИЯ/RUSSIA*. Вып. 3 (11). *Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII–начало XX века*. Москва, с. 245–260.
- Кінан, Е. (1994): Keenan, E. L., *On Certain Mythical Beliefs and Russian Behaviors*. W: S. Frederick Starr (ed.). *The Legacy of History in Russia and the New States of Eurasia*. — Armonk. New York and London, England 1994, с. 19–40 (доступно в WWW по адресу: <<http://www.litopys.org.ua>>).
- Ковалев, Г. Ф. (2003), *Этнос и имя*. Воронеж.
- Кун, Т. (2008), *Структура научных революций* (доступно в WWW по адресу: <http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/KUN/Kun.htm>).
- Мечковская, Н. Б. (1996), *Социальная лингвистика*. Москва.
- Наконечний, С. (1998), *Украдене ім'я: Чому русини стали українцями*. Львів.
- Насонов, А. Н. (1969), *История русского летописания XI–начала XVIII века. Очерки и исследования*. Москва.
- Огієнко, І. (2001), *Історія української літературної мови*. Київ.
- Пайпс, Р. (2002), *Коммунизм*. Москва.
- Півторак, Г. П. (1998), *Міфи й правда про трьох братів зі спільної колиски (про походження українців, росіян та білорусів)*. Київ.
- Потехина, Е. (2006б), *Языковые реформы в Украине и Беларуси: два сценария национального возрождения*. «Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe» № 3, с. 83–95.

- Потехина, Е. (2006в), *Беларусь и Украина: языковые контакты постсоветского времени*. В кн.: Nowożenowa, Z. (red.), *Wschód — Zachód. Dialog języków i kultur*. Słupsk, с. 179–184.
- Селиванов, В. В. (2001), *Кризис методологий в гуманитарных науках*. В кн.: *Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века*. Санкт-Петербург, с. 127–129.
- Сербенська, О., Волощак, М. (2001), *Актуальное інтерв'ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей*. Київ.
- Соболевский, А. И. (2008), *Славяно-русская палеография* (доступно в WWW по адресу: <<http://www.textology.ru/drevnost/sobolevsky.html>>).
- Татищев, В. Н. (2008), *История российской*. Ленинград, 1962-68 (доступно в WWW по адресу: <http://www.hrono.info/libris/lib_t/tatishev/html/>).
- Толстой, Л. (1949), *Война и мир*. Т. 2. Москва.
- Томсон, А. И. (1910), *Общее языковедение*. Одесса.
- Успенский, Б. А. (1995), *История русского литературного языка как межславянская дисциплина*. «Вопросы языкознания». 1, 5–14.
- Успенский, Б. А. (2004), *Историко-филологические очерки*. Москва.
- Фуко, М. (1975), *Смерть отца. La mort du père* (беседа с П. Дэ, Ф. Гави, Ж. Рансьером и Я. Яннакакисом). «Liberation» № 421, 30 апреля (доступно в WWW по адресу: <<http://www.XXII-VEK.narod.ru>>).
- Чернявская, Ю.В. (2004) *Этничность и национализм: взаимопроникновение и трансформации*. «Вестник молодежного научного общества (Право, экономика, культура)» № 4 (21), с. 76–78.
- Шапир, М.И. (1997), Успенский Б.А., *Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.)*. Москва, 1994. «Philologica» № 4, 8/10, с. 359–380.
- Эйдельман, Н.Я. (2008), *Дневники* (доступны в WWW по адресу: <http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NYE/DIARY_1.HTM>).
- Ярцева, В. Н. (1998), *Лингвистический энциклопедический словарь*. Москва.
- Althusser, L. (1969/1970), *Ideologie i aparaty ideologiczne państwa* (доступно в WWW по адресу: <<http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/althusser05.pdf>>).
- Appleby, J., Hunt, L., Jacobs, M. (2000), *Powiedzieć prawdę o historii*. Poznań.
- Doñańska, E. (2006), *Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce*. Poznań.
- Kurzowa Z. (2006), *Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI–XX w*. Kraków.
- Glück, H. (red.) (1993), *Metzler-Lexikon*. Sprache. Stuttgart–Weimar.
- Pociechina, H. (2006a), *Rola czynnika morfonologicznego w procesie przyswojenia zapożyczeń (na materiale polskich zapożyczeń w języku białoruskim)*. «Slavia Orientalis» LV/1, с. 119–128.
- Sobol, E. (1995), *Słownik wyrazów obcych*. Wydanie nowe. Warszawa.
- Tollefson, J. (1991), *Planning Language, Planning Inequality*. New York (доступно по адресу WWW: <<http://www-writing.berkeley.edu/TESE-EJ/ej01/r.2.html>>, 29 V 2007).
- Wexler, P. (1967), *Purism and Language: A Study in Modern Belorussian and Ukrainian Nationalism (1840–1967)*. Bloomington.
- Wexler, P. (1979), *The Rise (and Fall) of the Modern Byelorussian Literary Language*. «The Slavonic and East European Review» № 57/4, с. 481–508.
- White, H. (1973), *Metahistory: The Historical Imagination In Nineteenth-Century Europe*. Baltimore.

Elena Potsiekhina

THE HISTORY OF THE RUSSIAN LANGUAGE: THEORY AND MANIPULATION

Summary

Models of language competition usually favor the central language over those of the peripheries. Yet the Russian language has failed to establish its hegemony both in the tsarist and Soviet empires. While the tsarist period is briefly touched upon in the introduction, the present study concentrates on the “missed second opportunity” — the Soviet and post-Soviet period. It attempts to explain the causes for the second failure against a broad historical background, beginning with Lenin’s generous linguistic policy, through the elevation of Russian as the language of the “Soviet People” and of the “Communist Future” in the post-Stalin period, to the current (1992) retreat under local and global challenges. The role of language grievances in promoting national self-assertiveness and causing the present anti-Russian backlash in the republics is highlighted. The paper ends with a discussion of the future prospects of Russian as a second language.

Helena Pociachina

HISTORIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO: TEORIA I MANIPULACJA

Streszczenie

Modele kompetencji językowej zazwyczaj faworyzują język centralny na tle języków z obszaru peryferyjnego. Jednakże język rosyjski nie zdołał ustanowić własnej hegemonii ani w imperium carskim, ani w sowieckim. Chociaż okres carski jest we wstępie pokrótce omówiony, to niniejszy artykuł skupia się na „niewykorzystanej drugiej szansie” — okresie sowieckim i postsowieckim. Podjęta zostaje tu próba wyjaśnienia przyczyn owego niepowodzenia na szerokim tle historycznym, począwszy od polityki językowej Lenina, poprzez wyniesienie języka rosyjskiego jako języka „Ludu Sowieckiego” i „Komunistycznej Przyszłości” w okresie poststalinowskim, aż po obecne (1992) wycofanie się w wyniku lokalnych oraz globalnych wyzwań. Uwypuklona jest tu rola językowego poczucia krzywdy, jeśli chodzi o promowanie narodowej pewności siebie i powodowanie gwałtownego sprzeciwu antyrosyjskiego manifestowanego w republikach rosyjskich. Artykuł kończy dyskusja nad przyszłymi perspektywami języka rosyjskiego jako języka obcego.